

Фрида ВИГДОРОВА

Дневник матери



Колibri

МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
В 41

Серийное оформление АНДРЕЯ РЫБАКОВА

Оформление обложки ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛИКОВА

В книге использованы фотографии из семейного архива автора.

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-25645-3

© Ф. А. Вигдорова (наследники), 2024

© Е. И. Вигдорова, предисловие, 2024

© А. А. Раскина, статьи, 2024

© Л. К. Чуковская (наследники), статья, 2024

© К. И. Чуковский (наследники), рисунок, 2024

© Оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Колibri®

Предисловие

Впервые под одной обложкой оказались такие произведения Фриды Вигдоровой, как «Девочки. Дневник матери», «Судилище» (запись суда над Бродским), статьи, блокноты, неоконченная повесть «Учитель» и несколько писем к близким друзьям. А еще глава из книги Л. К. Чуковской «Памяти Фриды» и статьи-воспоминания дочери Фриды Абрамовны Александры Раскиной.

Книга открывается «Дневником», который Ф. А. вела о своих дочерях Гале и Саше. Дневник, подготовленный к публикации в 1968 году Л. К. Чуковской, начинается с 1941 года: война, Ташкент, Гале 4 года, Ф. А. — корреспондент «Правды», скоро должен родиться второй ребенок... А завершается 1955 годом: уже умер Сталин, в 1954 году возвратились из лагеря ближайшие друзья... За эти годы изменилось многое в мире, подросли дети, у Ф. А. вышли и полюбились читателю первые книги, определился и путь Вигдоровой-журналиста. А дневник матери оказался совсем не собранием милых детских словечек и смешных высказываний девочек, не это составляет ядро книги-дневника. В ней есть как драматизм детства, так и драматизм воспитания, отношения детей и взрослых, которые заботятся не только о том, чтобы дети были сыты и здоровы (а это трудно — особенно в эвакуации, да и после возвращения в Москву) и получали хорошие отметки в школе в то нелегкое, да нет, не просто нелегкое, тяжелое время. Что можно говорить при детях и детям, которые всё-всё, что услышат дома, принесут в школу?.. Как при этом уберечь от лжи? Как не потерять доверие? Как быть одновременно и дру-

гом и наставником? Такие вот сегодняшние, близкие всем нам вопросы...

Именно с Дневника начинаем мы читать эту книгу и сразу как будто попадаем в дом, семью Ф. А., знакомимся с нею, с ее девочками, с ее мужем, сложным и остроумнейшим Александром Борисовичем Раскиным, с бабушками и дедушкой детей, с друзьями и знакомыми, для которых этот дом всегда открыт; вместе с Ф. А. думаем, радуемся, горюем, а порой и недоумеваем, почему что-то складывается так, а не иначе. А главное, раз попав в мир ее мыслей и чувств, мы не выходим из него до конца книги — и когда видим ее поздние соображения-оценки ее же родительских действий на полях Дневника, и когда читаем знаменитую запись суда над юным ленинградским поэтом, и неоконченную последнюю повесть, и статьи, и записи в блокнотах, и когда открываем письма, в которых Ф. А. так откровенно и с такою любовью к тем, к кому они обращены, говорит о том, что ее волнует и мучает, не скрывая от друзей ни усталости, ни горечи, ни разочарования.

Большая часть того, что написано Вигдоровой, — не только дневник и письма! — написано от первого лица. Не безликое «мы», не ведающее ответственности, а «я» человека видящего, слышащего и свидетельствующего. Это «я» мы слышим даже, если собственно повествование идет в третьем лице. Уже в детском дневнике проявился ее абсолютный слух на чужую речь и ее способность воспроизводить эту речь так, что не только слова и даже интонации говорящего мы можем как будто услышать, но и понять его характер и даже отношение к нему автора.

Всюду, во всех книжках Ф. А., в блокнотных записях, даже порою в статьях появляются детские реплики, короткие высказывания, неожиданные оценки, например: «Ой, тетенька летит!» — это мальчик, которому запретили говорить про женщин «баба», увидев бабочку; или даже стихи: «Воду пьет холодная лягушка» (это стихи трехлетней Оли). Но и про детей — совсем не всегда трогательно и с любовью. Вот — тоже из писательского блокнота: Ф. А. приводит письмо некой маленькой Люды К., осуждающей гайдаровских Чука и Гека, которые «заставили переживать свою маму», и пишущей, что она «для своей мамы так никогда

бы не сделала». И вот тут авторская ремарка, восклицание: «Ах ты, маленькая ханжа!»

Обращение к ханжеству, ханжеству взрослому, воинственному, перерастающему в сознание права власти над судьбами других людей, — с какою же силою оно проявляется во всем, что написано Фридой Вигдоровой! Ведь именно это — ханжество как власть имущих, так и их приспешников — покушается на все живое и талантливое. Не только судья Савельева, чье имя, кажется, стало нарицательным, старается погубить Иосифа Бродского, молодого поэта. Нет, тем же сознанием своей власти, что и судья, бесспорно, обладали и общественный обвинитель Сорокин, и заседатель Тяглый, и свидетели обвинения... Каждый из этих людей, не ведающих, что такое поэзия и труд поэта, считали себя вправе выносить суждение о стихах Бродского, даже если они их не читали. Нет, Ф. А. не дает их портретов, не описывает их внешности, она только записывает их реплики и делает это так, что мы слышим эти гнусные голоса и видим эти — воспользуемся словами Гоголя — свиные рыла. На слова некоего Николаева, который говорит, что с людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады, зал, в который не пустили многих сторонников Бродского, но нагнали совсем далекую от поэзии публику, ответил аплодисментами.

Разговоры в зале суда, реплики, которыми уже после самого действия, перед оглашением приговора, перебрасываются те, кто был на суде, записаны без единой ремарки. В основном звучат голоса тех, кто аплодировал; есть и другие, но их мало. Среди них — человек, который на упрек толпы, зачем, мол, защищает, отвечает: «А я учитель».

Слово «учитель» для Ф. Вигдоровой многое в себя вмещало: и собственно учительство, и материнство, и работу «по справедливым делам», к которой она стремилась еще с юности. Ее последняя, неоконченная повесть так и называется: «Учитель».

Эта повесть написана не от первого лица, но «я» автора, личность Фриды Вигдоровой, горестные заметы ее сердца и холодные наблюдения ее ума со всею возможной полнотой отражены в «Учителе». Отражены в главном герое Навашине: его глазами и ушами, глазами и ушами человека, возвращающегося из

лагеря в самом начале Оттепели, мы видим и слышим происходящее в пробуждающейся и одновременно боящейся пробудиться стране. Но не только Навашину отдает Ф. А. очень важные для нее мысли. Так, в одном из разговоров-споров, которых много в этой повести, отец отвечает на реплику своего сына, говорящего и мыслящего штампами («От писателя в наше время требуется, чтобы...»):

— Александр Сергеевич Пушкин давно сформулировал, что требуется от писателя. Первое — чувства добрые пробуждать. Лирой. Второе — прославлять свободу. И третье — призывать милость к падшим. Три пункта, и все.

...От себя добавим: в тот жестокий век, в который довелось жить и писать.

Елена Вигдорова

Лидия Чуковская

Мысль мыслей

На протяжении нашей двадцатитрехлетней дружбы нам, конечно, случалось спорить, расходиться во мнениях. Расскажу об одном споре, постоянно возобновлявшемся, в котором, мне кажется, отчетливо проступает основная Фридина мысль. Ее мысль мыслей.

Я люблю Фридины повести, особенно «Черниговку», «Семейное счастье», «Любимую улицу». Я воспринимаю все Фридины книги — в том числе и те, которые не названы здесь, — как ее требование к нам, читателям: обороняйте людей, люди стоят защиты, а уж дети! Берегите детство, щадите, уважайте детство, любуйтесь им, учитесь у него и спасайте детей: они беззащитны.

Таков для меня общий смысл, и даже не смысл, а больше: пронзительный звук Фридиных повестей. Звук ее голоса, в котором тонут голоса героев. В первых повестях голос ее звучит наивно, порою даже до сентиментальности; с годами он делается чище и тверже, мужает.

Высоко ценю я и Фридины статьи, всегда вглубь, всегда наперекор официальному слюнвятому ханжеству, изнанка у которого одна: казарменная жестокость.

Но выше всего, сделанного Фридой, ценю я и люблю ее «Дневник»¹ и оба ее блокнота: журналистский и депутатский. «Един-

¹ Фрида Вигдорова в один из последних месяцев своей жизни сказала Л. К.: «Лидия Корнеевна, дневнички — вам!» То есть поручила ей подготовить их к печати. Л. К. закончила эту подготовку в 1968 г., дав дневничкам название «Девоч-

ственное, что в нашей власти, — это суметь не заглушить голоса жизни, звучащего в нас», — писал о литературном творчестве Борис Пастернак. Полнее, чем где-нибудь, Фридин голос сливался с голосом жизни именно в ее дневниках и блокнотах. Тот тончайший, редчайший слух, тот замечательный художественный дар, которым ее наделила природа, именно здесь, в этих беглых, непритязательных и как бы случайных записях яснее, чем где-нибудь, являл свою силу. При всей своей беглости каждая запись в «Дневнике» — это крошечная новелла, художественно вполне законченная; при всей своей интимности этот «Дневник» имеет интерес объективный и будет когда-нибудь читаться тысячами людей, как любимая книга: герои «Дневника», маленькие и большие, будут любимы читателями не менее, чем герои «Тома Сойера», или «Алисы в Стране чудес», или «Хижины дяди Тома». Из этого «Дневника» глядит лицо автора, проглядывает на отдельных страницах и лицо времени. Фридины же блокноты — это драгоценнейшие художественные документы эпохи: каждая запись — монолог или диалог из какого-то трагического фарса, идущего на сцене нашей действительности; монолог или диалог, подтверждающий гениальные прозрения Зощенко. (Я горжусь и никогда не перестану гордиться тем, что это я заставила Фриду серьезно, как к художественным, а не только интимным, семейным документам отнестись к своим дневникам и блокнотам, горжусь тем, что она садилась иногда рядом со мною за письменный стол, чтобы, читая вслух реплики героев, вместе проверять внятность, отчетливость интонации.)

И вот из-за этого моего пристрастия к Фридиным блокнотам и рождался обыкновенно наш спор.

Во Фридиной журналистской практике случалось, и нередко, что какой-нибудь диалог из блокнота переключивался в статью. Такое кочевье было, разумеется, совершенно естественно: ведь

ки (дневник матери)». Но в те годы рукопись не могла быть опубликована, даже с купюрами. В 2010 г. ее подготовкой занялась я: начала публикацию записью Ф. А. о начале войны, вставила записи, которые Л. К. вынуждена была опустить, дополнила немногочисленные примечания Л. К. своими, снабдила текст более обширными комментариями, и в таком виде «Девочки» были опубликованы в журнале «Семья и школа» в 2010 и 2011 гг. Эта же версия выходила потом три раза в издательстве «АСТ». — *Примеч. А. Раскиной.*

и делались-то эти записи чаще всего как основа для будущей статьи. Но, за редчайшими исключениями, попадая на газетную полосу, диалог мгновенно линял, его слепящая яркость меркла, тускнела: редакторы, замредакторы, правщики, дежурные по номеру кидались на эту искру подлинной жизни и гасили ее с такой энергией, словно это была искра пожара. Недоглядишь — вспыхнет.

Меня уничтожение слова, полного жизни, верного жизни, каждый раз приводило в уныние и ярость.

— Как вы могли согласиться? — накидывалась я на Фриду, и без того измученную обороной своей статьи... Фрида, принципиальнейшая из всех журналистов, каждый раз, как статью ее ставили в номер, чуть ли не поселялась в редакции, ходила следом за гранками с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, ни за что не позволяя уродовать, опошлять, исказить мысль и факты. — Как вы могли согласиться? Ведь я наизусть помню: в подлиннике этот диалог у вас гораздо сильнее! И томное мурлыканье кассирши, требующей «подробностей», и дремучая глупость этого дубины, физкультурника, который сам себя именует «товарищ» — «я здесь новый товарищ», — все это померкло, прилизано, причесано. Как вы могли согласиться?

— Но что же мне было делать? — устало спрашивала Фрида. — Им это не по нутру. Как раз то, что дорого нам с вами.

— Что делать? — переспрашивала я. — Немедленно брать статью обратно. Уносить домой и класть в ящик Вот что делать! Ведь это вредительство: найти слово — все равно где, в собственном воображении, в памяти или в чужой речи, — найти точное слово и допустить, чтобы на ваших глазах сделали его приблизительным!

— Но человек-то важнее слова, — говорила мне Фрида. — Ведь статью-то я написала в защиту учительницы. Ну, унесла бы я статью домой — ну и выгнали бы учительницу с волчьим паспортом... Чтобы выручить человека из беды, стоит поступиться словечком.

Логика несокрушимая, и я соглашалась. Я соглашалась, но как-то всего лишь умом, а не сердцем. Новая Фридина статья, новое умерщвление жизни хотя бы в одной строке — и опять между нами тот же спор.

Фрида очень любила Цветаеву. Вымаливала, а иногда прямо-таки требовала у счастливых владельцев стихи и прозу Цветаевой, и переписывала, и хранила, и знала наизусть... Однажды я отдала перепечатать на машинке и подарила ей «Искусство при свете совести» — статью, которую, на мой взгляд, необходимо пережить каждому, кто работает в литературе. Фридошка долго не выпускала ее из рук, читала без конца себе и другим, восхищалась, сама переписала ее на машинке и раздала экземпляры друзьям; но однажды сказала мне:

— Выводы из этой статьи для меня неприемлемы. И это вполне естественно: ведь Цветаева — поэт, и притом великий поэт, а я всего лишь учительница, журналистка. Там, в конце, — помните? — она пишет, что перед судом человеческой совести врач, учитель, священник — выше поэта. Выше, потому что нужнее. И что перед этим судом — судом совести — она грешна. И только перед одним судилищем она может оказаться правой: если существует Верховный Суд слова. Помните?

Я помнила очень хорошо, но Фрида достала статью из ящика и прочитала последнюю главку вслух.

«Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы... За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас.

И, зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее, посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд слова — на нем я чиста».

— А я не знаю, что меньше, что больше и что важнее, — говорила мне Фрида. — Но для себя я выбираю ту должность, которую Цветаева называет человеческой: врач, учитель. Пусть я окажусь грешницей перед Страшным Судом слова. Лишь бы не согрешить перед человеком и собственной совестью.

Я пыталась объяснить ей, что противоречие это мнимое, вымышленное, что где-то долг учителя, врача и долг поэта совпадают, что искусство равновелико строительству жизни. Но объяс-

нения мои были лишены вразумительности, потому что я и сама до конца не понимаю свою мысль. Не только другим, но и себе самой я не в силах ее объяснить. И всегда, пытаюсь додумать ее до конца, я, как на стену, натываюсь на твердую формулу Блока: «Искусство с жизнью помирить нельзя».

Спор этот — и даже не спор, не разномыслие, а скорее некоторое разночувствие, вызываемое разницей в нашем воспитании (я выросла среди людей, главной, а может быть, и единственной ценностью жизни считавших искусство, и с детства приняла эту мысль, не задумываясь, как аксиому), — спор этот длился между нами почти что до самого Фридиного смертного часа.

(С некоторых пор, подсказанный ей мужанием ее таланта, ее писательской зрелостью, спор этот возник и длился внутри ее собственной души, вступая в противоречие с ее отзывчивостью, с ее добротой и приблизив, по моему глубокому убеждению, ее преждевременный смертный час...)

Как это ни странно, угадывался он где-то под спудом и в наших постоянных разговорах о «деле Бродского» — деле, которому было отдано Фридой столько сил и в котором ее друзья, и я в том числе, принимали в течение полутора лет ежедневное участие. Борьба за Бродского заставляла нас всех жить будто на качелях: вверх-вниз, снова вверх и снова вниз. Мы постоянно находились между надеждой и отчаянием: то нам объявляли, что Бродский будет свободен в ближайшие дни (и мы имели наивность верить и даже сообщать об этом Бродскому), то в городе становились известны слова, произнесенные главой правительства: «Бродский наказан слишком мягко, ему следовало бы дать не 5 лет ссылки, а 10 лет тюрьмы». Для Фриды эти воздушные ямы были особенно тяжелы: она всегда начинала любить тех, за кого боролась, а Бродского, без его просьбы и ведома, попросту усыновила, раз и навсегда приняла к себе в сердце, и я даже знаю миг, когда это усыновление совершилось: на первом суде. Сообщая мне — 22 февраля 1964 года из Малеевки — о своем обращении к Генеральному прокурору СССР, Фрида писала:

«Что-то теперь будет?»

Но что бы там ни было, что бы ни было, а я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И может

быть, все будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом, а я все равно не забуду, как он смотрел — беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом — все разом.

А скорее всего, никем он не успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые, как канаты. Несокрушимое здоровье. А он болен. Ему не совладать с тем, что на него кинулось.

Зачем я пишу вам все это? Мне бы сказать вам что-нибудь хорошее¹, а я опять за свое».

Да, она опять за свое, опять и опять за свое. Боль, испытываемая Бродским, сделалась для Фриды живою, собственной болью, ни днем, ни ночью не покидавшей ее. Бессознательно и постоянно она требовала от каждого из нас — не словами и не слезами, а чем-то более властным, как может требовать поющая в оркестре скрипка, — чтобы и мы, не отвлекаясь и не уставая, испытывали сосредоточенную и неутолимую боль. Оттуда же, из Малеевки, она писала мне, что поехала она туда напрасно, что ей и лыжи не в лыжи, и работа не в работу, и тишина и лес ни к чему, что всюду перед ней этот деревянный загон, этот беспомощный и сильный человек, эта стража... Сейчас я говорю не о сути дела, а о тех мелочах, в которых проявлялось личное отношение Фриды к Иосифу, мне они кажутся более существенными для понимания ее душевного облика, чем даже та звонкая, смелая борьба за него, которую она с таким упорством вела.

Она собирала его стихи, переводы, вчитывалась, вдумывалась в них, раздобыла где-то его портрет. Расспрашивая о нем друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и пытались «воспитывать». «Кто ваши любимые поэты?» — спросила у него дама-секретарь. «Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак», — ответил Иосиф. «А ведь ему легко было ответить: Маяковский, Твардовский, — говорила мне Фрида. — И не придерешься. И дело с концом... А он ответил правду. Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту: правдивость?» Когда совершился второй суд, когда чудовищно несправедливый приговор был приведен в исполнение и Брод-

¹ Я в это время лежала больная: у меня было кровоизлияние в сетчатку.

ский по этапу выслан в Коношу, — все мы, желая утешить и ободрить его, отправляли туда телеграммы. Фрида, отправив свою, спросила меня, что думаю телеграфировать я. «Пришлите список книг... — сказала я неуверенно. — Ведь ему зимовать там...» — «Ну что вы! — огорчилась Фрида. — Получив такую телеграмму, он подумает, что вы с его изгнанием примирились. Что ему теперь остается только книги читать, а нам — только посылать ему книги». Я обещала придумать другую телеграмму. И когда я прочитала Фриде новый текст, что-то вроде «никогда не перестану опровергать клевету», Фридошка так прыгала вокруг меня, так радовалась и так дивилась этому нехитрому тексту, словно я у нее на глазах создала новый сонет Шекспира. «Мне бы так никогда не придумать, — наивно повторяла она, — какая вы умница, как я вас люблю. Интересно бы знать, сколько часов идет туда телеграмма? Получил он уже вашу или нет?» Узнав, что у Бродского нет пишущей машинки, она с нарочным послала в Коношу свою, уверив меня, будто у нее есть другая. И только после Фридиной кончины Галя рассказала мне, что никакой другой машинки у Фриды не было, эта была единственная, и подарили ее ей девочки, Галя и Саша, ко дню рождения на свой первый заработок...

Видя, как Фрида мается, как страдает от неудачи всех наших попыток, я пробовала утешать ее, в сотый раз перечисляла все добрые предзнаменования, а потом говорила:

— Фридошка, будет ли Иосиф свободен или нет, вы, своей записью, именно вы и именно этой записью, этим замечательным художественным документом, сделали неизмеримо много. Не только для него, для его освобождения. Вы первая из наших писателей докричались до мира, и ваш голос услышали все, кто жив еще. «Зову живых!» Сами вы рассказываете, как незнакомые люди на улицах пожимают вам руку. Запись, сделанная вами, благодаря художественной силе своей заставляет каждого пережить этот суд как оскорбление, лично ему нанесенное, и сделаться вашим союзником.

И вот тут-то снова поднимал голову наш постоянный спор.

— А мне этого и не надо, — сердито, упрямо, а иногда и со слезами в голосе повторяла Фрида. — Никакого этого значения в литературе или общественной жизни. Мне надо одно: чтобы

мальчик был дома. И раз я этого не добились, я испытываю только неловкость, когда люди невесть за что с благодарностьюжимают мне руку. Этой записью я надеялась спасти его. И не спасла.

Я повторяла ей опять и опять, что если Бродский будет спасен, то именно благодаря ее записи, что, кроме четырех-пяти людей в Ленинграде, кинувшихся ему на выручку с самого начала травли, да четырех-пяти в Москве, которые тоже начали действовать сразу после гнусной статьи в газете, — все остальные, а их десятки, мобилизованы именно ее записью. Я пыталась объяснить ей, что запись — литературный шедевр, что она так же отличается от стенограммы, как живопись мастера от плохой фотографии; это портрет каждого свидетеля — отчетливый, незабываемый, резко очерченный; портрет судьи, общественного обвинителя; и, наконец, больше: это портрет самого неправоудия. Я делала опыты: показывала запись тем, кто сам присутствовал на суде, кому все было известно и без нее. Они читают и видят пережитое по-новому, и плачут и гневаются, как не плакали тогда. Такова власть искусства: воспитательная, познавательная, несокрушимая.

Фрида слушала меня неохотно, хмуро, без интереса. О, конечно, она — учительница, она — журналистка, гораздо лучше меня понимала, что такое воспитание в самом широком, истинно общественном смысле. Но при этом от каждой своей статьи в газете, от каждой судебной или иной записи она привыкла требовать прежде всего результата совершенно прямого, конкретно: чтоб выпустили человека из тюрьмы; чтоб дали человеку комнату; чтоб восстановили человека на работе... Прямого результата запись суда над Бродским, несмотря на все наши усилия, не давала, — а воспитательный смысл? а художественная ценность? — Бог с ними, — печально говорила Фрида.

В последние недели Фридиной жизни, или точнее: в последние недели Фридиного умирания, когда она уходила от нас, покидала нас, или еще точнее: когда она покидала себя, лежа неподвижно на тахте в своей милой комнате, меня преследовал один и тот же сон... Возвращается Бродский. Я — во сне — набираю номер: АД 142-97. И говорю: «Сашенька, Иосиф вернулся, ска-

жи маме... Сашенька, скажи маме...» И во сне думаю: как хорошо, что она успела узнать. Что я успела подать ей весть туда, на тахту, которая из веселой, мягкой обыкновенной тахты превратилась в два твердых, как камни, непостижимых слова: смертный одр.

Сон этот осуществился наяву, но, к великому нашему горю, неполностью. Бродский был освобожден через полтора месяца после Фридиной смерти. Он пришел ко мне. Мы вместе позвонили в Ленинград Анне Андреевне и его родным. Потом я сняла трубку и набрала номер: АД 142-97.

— Сашенька, Иосиф вернулся, — сказала я Саше, когда та отозвалась. Мы обе замолчали. Продолжения не было. Из горла ничего не шло на губы, с губ ничего в трубку. Я видела Сашу так же ясно, как если бы это был не телефон, а телевизор. Ресницы, волосы. Я видела пустую тахту. Я подумала: пойти разве на могилу, прошептать эти слова земле: Фридошка, Иосиф вернулся...

В двадцатых числах июля, дней за десять до конца, Фрида в последний раз спросила меня о Бродском. И странно, мне показалось потом, когда я перебирала в памяти мои последние к ней приходы, что этот разговор был тенью нашего старого разномыслия: «Бог с ней, с литературой, был бы цел человек...» Когда я вошла, Фрида лежала спиной ко мне и лицом к стенке и, когда я села в кресло рядом с тахтой, — не повернула ко мне головы, не подняла глаз и поздоровалась со мной только морщинкой: это от усилия улыбнуться морщинка перерезала лоб.

— Ну как наш рыжий мальчик? — спросила Фрида медленно, словно бы по складам, «ры-жий маль-чик».

Дело стояло тогда на точке совершенно загадочной. Оно находилось у председателя Верховного суда РСФСР Л. Н. Смирнова, и в течение трех месяцев нам по телефону и лично отвечали на спрос, что решаться оно будет «через три-четыре дня». На письма же и телеграммы ответа вообще не было. Но все-таки у меня для Фриды была припасена хорошая новость: Евтушенко, сказала я, вернувшись из Италии, представил в ЦК, как водится, записку о своей поездке, и там, излагая содержание своих бесед с представителями итальянской интеллигенции, заявил, что «дело Бродского» наносит престижу нашей страны огромный ущерб,

что Бродского необходимо выпустить и, главное, как можно скорее издать книгу его стихов — потолще той, которая издана на Западе. Там же он писал, что берется сам составить книгу и приготовить предисловие к ней.

— Книга Бродского! Вот бы хорошо! — сказала я.

Фридошка показала мне рукой, чтобы я с кресла пересела на тот угол тахты, с которого она могла видеть меня, не поворачиваясь. И подняла веки.

— Не до предисловия тут, не до книги, — сказала она легко, быстро, внятно. И затем снова с трудом, по складам: — Выпусти-ли бы маль-чи-ка на во-лю. Кни-га — это по-том.

И закрыла глаза.

Книга — потом. На первом месте — человек.

Мысль мыслей.

Девочки
Дневник матери

Некоторые биографические сведения о героях этой книги

Отец Фриды Абрамовны Абрам Григорьевич Вигдоров (1885–1960) был педагогом, мать Софья Борисовна (1889–1968) — фельдшерницей. Брат Ф. А. Исаак Абрамович Вигдоров (1919–1968) был военным летчиком и прошел всю войну. Ф. А. росла в дружном и гостеприимном доме. Семнадцати лет Ф. А. уехала учительницей в Магнитогорск. В середине 30-х она вернулась в Москву вместе с Александром Иосифовичем Кулаковским (тоже учителем). Вскоре они поженились, и в 1937 г. у них родилась дочь Галя; в том же году они оба кончили педагогический институт. Тогда же Ф. А. начала свою журналистскую деятельность. Перед войной молодая семья распалась, но родители Гали остались друзьями. А. И. Кулаковский погиб на фронте 7 марта 1942 г. С его матерью Валентиной Николаевной Черемшанской («бабушкой Вале́й») Ф. А. сохранила самые теплые отношения до конца своей жизни.

В самом начале войны Ф. А. вышла замуж за писателя Александра Борисовича Раскина. В эвакуацию в Ташкент она поехала с семьей, уже ожидая второго ребенка. Саша родилась в 1942 г. В эвакуации Ф. А. работала специальным корреспондентом «Правды».

А. Б. Раскин (1914–1971) — автор нескольких книг литературных пародий и эпиграмм (до войны — совместно с М. Слободским). Среди послевоенных книг упомянем «Очерки и почерки» (1959 и 1962), а также книгу рассказов для детей «Как папа был маленьким» (1961–1965), которая часто переиздается и в наши дни. По пьесе А. Раскина и М. Слободского «Звезда экрана» режиссером Г. Александровым был поставлен фильм «Весна» (1947).

Галина Александровна Кулаковская (в замужестве Киселева) (1937–1974) преподавала в школе физику. Две ее дочери живут в Москве.

Александра Александровна Раскина (р. 1942) — по образованию лингвист. В 1991 г. с мужем математиком А. Д. Вентцелем и дочерью уехала в США. Живет в Новом Орлеане, где до недавнего времени преподавала русский язык и литературу в университете Тулейн.

Вигдорова Ф.

В 41 Дневник матери / Фрида Вигдорова. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025. — 704 с. + вкл. (32 с.).

ISBN 978-5-389-25645-3

Фрида Вигдорова — талантливый писатель, журналист, общественный деятель. Автор трилогии «Дорога в жизнь», «Это мой любимый дом», «Черниговка», дилогии «Семейное счастье», «Любимая улица», повести «Мой класс».

Особой страницей в биографии Фриды Вигдоровой стало участие в защите молодого поэта Иосифа Бродского. В 1964 году, когда он был заключен под стражу по абсурдному обвинению в тунеядстве, она присутствовала на процессе и запечатлела глумление над поэтом и самой идеей правосудия в записях, впоследствии широко разошедшихся в самиздате и за рубежом под названием «Судилище».

Но она защищала не только Бродского. Деревенские старики, которым председатель не давал соломы поправить прохудившуюся крышу. Беспомощные обитатели инвалидного дома. Подросток с тяжелой судьбой, сбившийся с пути, попавший в колонию... Не перечить всем, кого она выручала, за кого заступалась, поддерживала, о чьей судьбе писала в газетах, ради кого ходила по инстанциям и боролась, отвоевывая у бездушной чиновничьей машины то, что полагалось человеку по праву.

Но помимо работы журналиста, а впоследствии и депутата районного совета, Фрида Вигдорова вершила самый главный труд на земле — растила детей. Мама двух дочерей, она на протяжении многих лет вела дневник. «Девочки. Дневник матери» — это одновременно исторический и глубоко личный документ, в котором за описанием повседневности встают и образ времени, и вечные вопросы. Эти записи полны тепла и света, юмора, нежности и пронизательного уважения к личности.

«При всей своей интимности, — писала Лидия Чуковская, — этот „Дневник“ имеет интерес объективный и будет когда-то читаться тысячами людей, как любимая книга: герои „Дневника“, маленькие и большие, будут любимы читателями не менее, чем герои „Тома Сойера“ или „Алисы в Стране чудес“».

Кроме «Дневника» и знаменитого «Судилища», в настоящее издание вошли «Блокноты журналиста», «Блокноты депутата» и «Блокноты писателя», неоконченная повесть «Учитель», а также избранные статьи, очерки и письма Фриды Вигдоровой.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6

ФРИДА АБРАМОВНА ВИГДОРОВА

ДНЕВНИК МАТЕРИ

Ответственный редактор ЕКАТЕРИНА ДУБЯНСКАЯ

Художественный редактор ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛИКОВ

Подготовка иллюстраций ДМИТРИЯ КАБАКОВА

Технический редактор ВАЛЕНТИНА ДИК

Компьютерная верстка МИХАИЛА ЛЬВОВА

Корректоры ОЛЬГА ПОПОВА, ДМИТРИЙ КАПИТОНОВ

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 17.10.2024.
Формат издания 60 × 88 1/16. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 45,08 (вкл. вклейку). Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» — обладатель товарного знака КоЛибри®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндіруші: «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ — КоЛибри® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12-14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru	Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12-14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Отпечатано в России. Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-APR-34616-01-R